

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ДОЛГИЕ БЕСЕДЫ В ОЖИДАНИИ
СЧАСТЛИВОЙ СМЕРТИ

Из дневников этих лет

Первое издание: Евсей Цейтлин. Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет.
Вильнюс, 1996. Еврейский музей Литвы

Евсей Цейтлин

Долгие беседы в ожидании счастливой смерти

Книга Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» родилась в результате необычного эксперимента. Сегодня ее читают, о ней спорят в разных странах и на разных языках (книга переведена на немецкий, английский, испанский, украинский, литовский языки).

Российский критик Лев Аннинский: «...Трагическая исповедь, записанная из уст человека, который ждет смерти как избавления от мук совести. Философский аспект этого репортажа о собственном умирании достоин отдельного разговора, в контекст которого надо будет включить толстовского Ивана Ильича, а также академика Павлова, Николая Островского и, пожалуй, того американского интеллектуала, который предложил всем желающим наблюдать его агонию по каналам «Интернета»

Американский профессор Анатолий Либерман: «...Из разговоров, раздумий и случайно брошенных замечаний скомпоновано целое – столь искреннее и освещенное столь трагическим светом, что эту книгу можно было бы назвать романом, причем романом замечательным».

СОДЕРЖАНИЕ

Дина Рубина. Единственный сюжет

«ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

Необходимое объяснение с читателем

Интонация и жанр

СЮЖЕТЫ ПРОЩАНИЯ. Тетрадь первая

Лабиринт

Символ

Опыт самопознания

Пометка для читателя

Театр... театр?

«Ярый враг тайн»

Возвращение

Тень Фрейда

Фрагменты жизни

Нить страха

Сны

Приговор

Начало

Между прочим

Фрагменты жизни

Вариации на тему Витенберга

Еще одно объяснение с читателем

Вход в лабиринт

Несколько шагов в лабиринте

Бумеранг

Воспоминание о пепле

Сны

Голоса на развалинах

Лицо смерти

Счастливчик

Без названия

История одного замысла

Нужно уметь прощаться вовремя

Убийцы в белых халатах

Новеллы его жизни

«Наивный перец Маркиш»

Теория бесконфликтности

Зеркало

ЖИЗНЬ ПРИ СВЕТЕ СМЕРТИ. Тетрадь вторая

О пользе некрологов

Подарок дочери

Фрагменты жизни

О природе молчания

...Перед захлопнутой дверью

Тайники

«Разве важно, на каком языке писать?»

Последний еврей

Человек и вещи

Человек и время

«Самое-самое»

Круг

В поисках утраченной свободы (начало)

В поисках утраченной свободы (окончание)

Покровы тайны

Лицо мужчины в старости

«Я понял суть человека»

Еще один портрет

Вечерний свет

Ненаписанные сюжеты

Двойное зрение

Не забудь о Сальери

Энергия заблуждения

Герой и автор

ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ. Тетрадь третья

Знаки

Свет на морских волнах

Одиночество как форма «жизни и творчества»

Варианты судьбы

Хроника ухода

Фундамент

Фрагменты жизни

Волны страха

Ритуалы

Магия имени

Путешествие в Израиль и обратно

Последняя любовь

«Страшнее всего — страх»

Между прочим

Последние страхи

Прощай, Дон Кихот!

Из последних рассказов

Старый друг

Штрихи к портрету антисемита

Последняя пьеса

Подводя итоги

Между прочим

СМЕРТЬ И НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПОСЛЕ. Начало тетради четвертой

Последняя тайна

В конце лабиринта

«Там и встретимся»

Вот и все

Международная пресса о книге

Об авторе

Дина Рубина

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЮЖЕТ

Книга Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» не имеет аналогов в русской литературе. В мировой литературе ее можно было бы сравнить с записками Эккермана о Гете, если б героя книги Цейтлина можно было бы сравнить с Гете в чем-нибудь, кроме долголетия.

Это кропотливый, длительный и талантливый эксперимент по изучению истории человеческой души, ее страхов и мучительной борьбы с ними, история поражения и мужества и окончательного, возведенного самим героем, одиночества.

Несколько лет писатель и литературовед Евсей Цейтлин встречался со своим героем *й*, записывая его воспоминания, монологи о прожитой жизни, мысли о настоящем и прошлом.

Все беседы автора и его престарелого героя проходят под знаком будущей (и довольно скорой, по логике событий) смерти *й*. Это придает всему течению сюжета (хотя как такового, в литературном понимании этого слова, сюжета в книге нет) скрытую напряженность.

Поразительную роль выполняет в этой книге автор. Он тонкий понимающий собеседник *й* и в то же время «фигура за кадром». Он младший коллега по цеху и, в то же время, та душевная и нравственная инстанция, к которой постоянно апеллирует *й*.

Это одна из тех книг, к которым возвращаешься мыслью в самые неожиданные моменты собственной жизни, ибо путь каждого из нас предопределен Творцом, но нравственный выбор — а эта тема всегда была и есть главной в искусстве и в жизни — остается за человеком, за героем той книги, той единственной книги судьбы, сюжет которой каждый из нас проживает единожды и начисто.

«ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

Сегодня произошло то, чего мой герой ждал несколько десятилетий. Его похоронили.

Замечаю: я впервые пишу о Йокубасе Йосаде в прошедшем времени. Он умер три дня назад. Но язык не поворачивался сказать о нем: был.

А сегодня, 12 ноября девяносто пятого года, земля упала на крышку его гроба. Лицо Йосаде в гробу, как почти всегда у мертвецов, было совершенно спокойным. Однако он и при жизни спокойно говорил со мной о собственной смерти. Например, однажды представил:

— Проводив меня на кладбище, не один человек переспросит: «А кем, собственно, этот Йосаде был в искусстве? Литературным критиком? Но статьи его давно забыты. Драматургом? Однако пьесы его не ставят театры. Автором нескольких мемуарных писем к сестре и дочери? Подумаешь, тоненькая тетрадка! К тому же смущает то, как Йосаде говорит о людях и, в том числе, о самом себе...»

Он помолчал. Хитровато улыбнулся:

— Вот тогда-то, дорогой мой, вы извлечете на свет божий свои записи... Умоляю вас: не надо панегириков! Пусть это просто будет рассказ о Йокубасе Йосаде, которого почти никто не знал.

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Я выбираю для своей книги странный, вроде бы, ракурс — прощание героя с жизнью.

Нет, я вовсе не стремлюсь к оригинальности. Пишу о том, что волновало его больше всего. И что составляло прочный стержень наших бесед.

В первый же день знакомства, в первый же час, едва ли не в первые пять минут он признался:

— Готовлюсь к смерти. И это, пожалуй, самое лучшее, самое серьезное из того, что я делал долгие годы.

Йосаде испытующе посмотрел на меня:

— Как вы считаете, я прав?

Сказал ему то, в чем ничуть не сомневаюсь: подготовка к смерти не только может стать образом жизни, но способна наполнить жизнь реальным смыслом. Тогда-то и окажется, как сказал однажды царь Соломон, что «день смерти лучше дня рождения». И здесь, кстати, нет ничего нового. Достаточно вспомнить историю религии, философии, культуры.

Йосаде порывисто встал с кресла, обнял меня:

— Значит, мы единомышленники!

И все же он вернулся к этому разговору через день. Он еще недоверчив: вдруг его просто разыгрывают?

Переспросил:

— Вы встречали людей, в том числе и писателей, с той же целью, что сейчас у меня?

Я вспоминаю некоторых художников слова — их творчеством занимался прежде. Вспоминаю поэта и пастора Кристионаса Донелайтиса: тот шел к смерти, ведя трагический дневник на страницах старых приходских книг. Вспоминаю детского писателя, бывшего сибирского шамана: тот всюду, как эстафету, возил с собой мешочек с костями предков — время от времени он разговаривал с их душами. Вспоминаю мучительный интерес к смерти Всеволода Иванова — первопроходца и «опозиционного классика» русской советской литературы...

Наконец — почти анекдот! — рассказываю Йосаде об одном знакомом музыканте. По вечерам он укладывался спать в гроб: «Привыкаю!» Нет, он не был сумасшедшим. Во всем остальном он был, как все. И даже стеснялся этой своей «привычки». Кстати, у меня давно есть собственное объяснение подобной странности. Видимо, гроб настраивал музыканта на медитацию, как бы напоминал о вечности... Но я промолчал — ведь мы еще так мало знакомы с Йосаде.

Однако он тут же и — так же! — объяснил мне подоплеку ситуации. Воскликнул:

— Какой оригинальный, какой самобытный человек!

...Так начались наши беседы с ним. Первая — третьего августа 1990 года. Последняя — за несколько дней до его смерти.

ИНТОНАЦИЯ И ЖАНР

— ...Мне повезло! Я стал прощаться с жизнью тридцать два года назад. Именно тогда, в пятьдесят восьмом, мое сердце потеряло ритм. Вы слышите? Мне повезло! Человек не думает о вечном, пока не приблизится вплотную к могиле.

Увы, не могу передать ни его еврейский акцент, ни его плохой русский язык, ни особые — всегда откуда-то из глубины — интонации голоса.

Разве что синтаксис чуть-чуть поможет сберечь течение речи.

Разве что можно вспомнить материальное, физическое — его движения, к примеру: то, как закидывает актерски голову, старчески семенит на веранду, как вдруг выглядывают из-под маски морщин смеющиеся юные глаза.

* * *

Сначала записываю его монологи в обычную тетрадку. Он понимает маету этой работы, досадует: сколько же страниц потребуется, чтобы вместить его жизнь! Затем приношу магнитофон, который ничуть не смущает Йосаде. Напротив, какая-то тайная радость переполняет его.

Эту, как и другие «загадки» Йосаде, я обычно пытаюсь разгадать на следующий, после интервью, день.

Прослушиваю магнитофонную пленку. Одновременно веду свой дневник. Здесь же, в дневнике, фиксирую (коротко, главное!) и наши с ним беседы за ужином или на прогулке. А в последние три-четыре года начинаются долгие (иногда часами) разговоры с Йосаде по телефону. Зачастую он звонит сам. Рассказывает о многом, ничуть не сомневаясь: я записываю...

Что ж, с самого начала мы не скрываем друг от друга: у каждого в этих беседах — собственный резон.

Йосаде: «У меня уже нет сил написать свою интимную, духовную биографию. Пусть она останется хоть в наших разговорах, в вашей будущей книге».

А я не скрываю от него главную цель своего переезда из России в Литву. Цель эта у многих вызывает недоумение (порой явное, иногда — невысказанное). Да, я приехал сюда, чтобы записывать рассказы последних литовских евреев. История их на редкость богата; недавнее прошлое трагично (едва ли не беспрецедентна цифра уничтожения евреев Литвы в годы Второй мировой войны — 95 процентов); что же касается жизни литваков в последние несколько десятилетий, то она покрыта пеленой молчания...

«Молчание? Да, да, — подхватывает Йосаде, когда я напоминаю ему название книги писателя Эли Визеля о соплеменниках в СССР — «Евреи молчания». — Наше молчание в эти годы пронизано болью, кровью, слезами, стыдом... Молчали перед миром, молчали друг перед другом, молчали наедине с собой. Молчали, боясь КГБ. Боясь грозного ярлыка: сионист.

Я обязательно расскажу вам о своем молчании. И о том, как уходил от него. Между прочим, название одной моей пьесы не зря перекликается со словами Эли Визеля — «Синдром молчания».

* * *

И еще. Два слова о жанре этих записок. Жанр не нов. Так называемый «дневник без дат». Указываю их только тогда, когда даты важны для повествования. К тому же я сознательно «перепутал», поменял последовательность своих записей. Конечно, интересно почувствовать «движение дней». Но еще более интересно увидеть движение, тупики, «прорывы» мысли.

* * *

...Мысли, сознание человека, идущего к смерти. Вот предмет моего повествования. Вот что определяет интонацию, диктует сюжет...

* * *

В дневнике я называю его *й*. Пусть останется одинокая эта буква и в книге, которая лежит сейчас перед вами.

СЮЖЕТЫ ПРОЩАНИЯ

Тетрадь первая

ЛАБИРИНТ

й рассказывает свою жизнь как долгий перечень парадоксов. Иногда парадоксы его забавляют. Порой он ими даже хвастает. Гораздо чаще рассматривает эти парадоксы с печальным недоумением.

— Сравните, — обратился он ко мне, — сравните то, как жила моя семья, и то, как жили семьи других писателей Литвы. В большинстве случаев вы увидите, что называется, бурные сюжеты: похороны, разводы, размены квартир, часто безденежье... А у нас, вроде бы, все было тихо и мирно. Благополучно. Почти полвека прожили в огромной квартире, в одном из престижных районов Вильнюса — на Жверинасе. Антикварная мебель. Полный достаток. Машина. Курорты. Моя жена — один из лучших в Литве врачей-эндокринологов, известный доктор Сидерайте. Я — всеми уважаемый литературный критик, а потом — драматург. Дети получили хорошее образование...

Он сделал паузу. И выдохнул:

— Но все это — внешнее. Жизнь внутренняя — подлинная — кипела как раз в нашей семье! Вы содрогнетесь, когда узнаете правду...

Глагол «содрогнетесь» заставил меня вспомнить о театре. Я подумал: опытный драматург строит таким образом «завязку» наших бесед.

И все же очень скоро я убедился: он прав. Больше того, его жизнь — вовсе не перечень парадоксов, но путь в лабиринте.

СИМВОЛ

Тема подлинного и мнимого в его жизни, по мнению *й*, началась восемьдесят лет назад.

«...Я весь фиктивный. В моей метрике, к примеру, фиктивна дата рождения. Там значится: 15 августа 1911 года. А на самом деле... Я появился на свет назавтра после поста Девятого Ава. Вы помните, что это за день в еврейской истории? Он трагичен для евреев разных эпох. Девятого Ава произнесен Божественный приговор над выходцами из Египта — наши предки были осуждены сорок лет кочевать по пустыне. Девятого Ава уничтожены и Первый, и Второй храмы в Иерусалиме. На Девятое Ава приходится изгнание евреев из Испании в пятнадцатом веке. Я недавно подумал: а ведь примерно Девятого Ава началась и Вторая мировая война.

Откуда же взялась эта дата — пятнадцатое августа? Все метрические книги в Калварии — и цивильные, и в раввinate — были уничтожены в первую мировую войну. Все, все сгорело. «Пятнадцатое августа», — сказал я писарю, когда поступал на службу в литовскую армию. Помнил: пятнадцатого августа родились многие выдающиеся люди, в том числе Наполеон».

А подлинную дату своего рождения *й* узнал лет через десять. «Это был первый день после Девятого Ава», — припомнит мать. И он пойдет к раввину. И тот достанет еврейский календарь за 1911 год. И окажется тогда: он на одиннадцать дней старше...

Этот рассказ *й* закончил, как и начал:

— Я весь фиктивный. Я пришел в мир не в день праздника, а после поминок (23 октября 90 г.)

ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ

Собственная жизнь для него не менее таинственна, чем для меня. *й* с разных сторон пытается подойти к «тайне».

«Что сформировало мой характер, мой духовный облик и, в конце концов, мою биографию?

Вот, по-моему, самое главное: до двенадцати лет я не видел крови. Никогда. Ни крови человеческой, ни даже крови куриной. Я даже никогда не видел резника, который, согласно еврейской традиции, убивает животных особым способом — чтобы мясо было кошерным.

Никогда не видел мертвеца...

Сам не знаю, почему так случилось. В семье в эти годы никто не умирал. У соседей — тоже. А, может быть, меня старательно оберегали от подобных впечатлений

Не видел я и револьвера. В городке было трое или четверо полицейских. Когда они шли по улице, из их портупей выглядывали деревянные рукоятки.

В том мире, который окружал меня, царил не культ силы — культ ума.

Я знал: если между евреями назревает серьезный конфликт, они идут к раввину. Тот не может посадить в тюрьму, однако его решения выполняются беспрекословно. За словами раввина, какими бы они ни были, просвечивала мудрость Торы, Талмуда, предания...» (23 октября 90 г., 8 ноября 91 г.)

* * *

Все приходит в свой срок. В тринадцать лет еврейский мальчик обычно становится полноправным членом общины. Двенадцатилетний Янкель узнал сразу две тайны жизни — смерти и любви.

* * *

...Как всегда, в воскресенье, приехала из деревни одна знакомая семья: что-то купить, просто погулять по городку.

Их было трое: две сестры и брат. Обычно они появлялись к обеду. В тот раз обед не состоялся. Уже садились за стол, когда старшая из сестер (ей было двадцать пять-двадцать шесть лет), поднявшись с софы и подойдя к столу, вдруг упала.

Ее тут же уложили в постель, диагноз для врачей очевиден: паралич. Больную нельзя было никуда перевозить. Три дня она находилась в той же комнате, где спал Янкель. (Собственно, это была кровать старшей сестры, но той нашли другое место, а ему, мальчику, — не смогли: в доме очень тесно — ведь гости так и не уехали).

Конечно, никто не думал, что больная умрет. А Янкель не сомневался в этом. Слушал ночами шумное, сбивчивое дыхание и ждал: скоро ли все кончится? Засыпал, снова вслушивался.

Она пролежала ровно трое суток. И однажды ночью затихла.

* * *

Столь же внимателен *й* к жизни плоти.

Записи наших бесед о том, как трансформировалась любовь в двадцатом веке. Проблемы, над которыми он размышляет в связи с пьесой «Жертвоприношение»: что преобладает в любви теперь — эротика или духовность; что такое творчество любви.

Кстати, в те же самые ночи, когда он, двенадцатилетний, почувствовал присутствие смерти, Янкель услышал и «дыхание любви».

В той же комнате, кроме мальчика и умирающей, были еще двое: восемнадцатилетняя сестра больной и — молодой санитар.

Любовные игры на полу, которые сначала кажутся мальчику сном. Спустя семьдесят лет его волнуют вопросы: видела ли э т о умирающая; была ли та любовь кощунством; бывает ли вообще любовь кощунством; что такое любовь...

Его до сих пор, как всякого творца, волнуют вопросы подростков.

* * *

2 октября 95 г. *й* рассказал мне неожиданное и многозначительное для него продолжение той истории.

— Сразу после войны, приехав в Калварию, я пошел на городское кладбище. Когда-то оно было большим, красивым (между прочим, удобным для любовных свиданий). А теперь кладбище превратилось в пастбище. Евреев в городке почти не осталось. Плиты с кладбища растащили местные жители. По всей Литве еврейские надгробья несколько десятилетий использовали для строительства. Я стоял, оцепенев, и смотрел, как корова бродит по могилам, выщипывая траву. Вдруг я заметил могильную плиту. Всего одну. Оставшуюся каким-то чудом.

Я подошел ближе. Легко прочитал имя и фамилию: Нехама Криснянская... Да, так звали молодую женщину, которая умерла у меня на глазах.

Я был в то время не то что нерелигиозным — убежденным атеистом. И все же смутная догадка прошелестела в моей голове: это совпадение не случайно. Я почувствовал указующий перст Бога. Только не смог тогда, да и сейчас не могу объяснить этот символ.

ПОМЕТКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Я отбираю записи наших бесед с *й*, а также фрагменты своих дневников. Вижу: между отдельными главами часто возникают смысловые пробелы. Почему я сознательно оставляю их? Пусть читатель сам отыщет «связующую нить». Пусть, если захочет, вообще по-своему перекомпонует эту книгу. А я боюсь быть категоричным, пристрастным в оценках, предположениях. Ведь, в конце концов, замысел каждой человеческой жизни — от рождения и до смерти — известен только Творцу. Ибо, как сказано в Торе, «не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умираешь».

ТЕАТР... ТЕАТР?

ЛОЖА. «Итак, только приблизившись к смерти, я начинаю по-настоящему жить. Шел тысяча девятьсот восемьдесят пятый год. У меня диагностировали второй инфаркт. И тогда я окончательно пересел в ложу...»

Что это такое — «ложя»? Легко понимаю из контекста:

— Мне хорошо. Я сижу в ложе жизненного театра. Я спокоен. Я могу ни о чем не терзаться.

Или, чуть в иной вариации:

— Я в ложе, мне восемьдесят лет. Я теперь позволяю себе говорить о чем угодно, что угодно, кому угодно.

В связи с этим напоминаю *й*: «ложя в жизненном театре» — место, которое любили и любят многие. Вот хотя бы Пифагор. «Жизнь, — говорил он, — подобно игрищам: иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть...»

— Да! Да! — немногословно согласился *й*. Пифагор ему не слишком интересен. Интереснее было бы, если б он сам стал первооткрывателем подобной жизненной философии.

* * *

Меня чуть смущает то, что слова *й* отдают самогипнозом. Даже формулы совпадают: «Я спокоен, я очень спокоен, мне хорошо...»

Конечно, его место в театре жизни не просто удобно. Конечно, это самая верная позиция писателя. Но одновременно его «ложу» пронизывают, если так можно выразиться, сквозняки. Человек, исповедующийся на площади, беззащитен. *й* хорошо знакомо чувство холода, пустоты вокруг. Ощущение реальности ухода. «Я одинок. Я очень одинок»... Это тоже рефрен наших бесед.

* * *

*Й*осаде и театр. Тема, в которой много поворотов. Самое очевидное: он драматург, автор двенадцати пьес. Он и окружающих часто воспринимает как персонажей будущей драмы. Говорит со своими героями. И — за героев. Наконец, *й* театрален по характеру: любит вживаться в новые «предлагаемые обстоятельства».

* * *

МИФЫ. Сначала *й* творит их, затем — увлеченно и радостно — живет среди мифов.

При знакомстве сообщил доверительно:

— Мне ничего уже в жизни не надо. Я богат. Я очень богат. Как вы думаете, сколько денег лежит сейчас у меня в сберегательной кассе?

Пожимаю плечами. А он отвечает, как бы удивляясь сам:

— Сорок восемь тысяч! Ну зачем, зачем они мне? Я могу купить себе все, что захочу. Только хочу я сейчас так мало...

Заметив в моих глазах невысказанный вопрос, он объясняет:

— Это все мои гонорары...

Тут я начинаю сомневаться. Я ведь знаю, как «велики» гонорары драматурга, чьи пьесы шли в двух-трех театрах Литвы, что такое гонорары литератора, выпустившего два томика пьес, одну книжку критических статей и одну — прозы. К тому же четверть века уже *й* нигде не служит... Тем не менее я с радостью верю в его богатство! Люди почему-то чаще всего приписывают себе нищету.

О собственных капиталах *й* рассказывает многим. Нередко предлагает даже распахнуть двери шкафов в своем доме:

— Откройте, посмотрите. Вы сами увидите, какие ценности здесь хранятся!

На самом деле сумма вкладов в сберегательной кассе в ...сорок раз меньше, чем он говорит. Сначала узнаю это от доктора Сидерайте, а потом (в 1994 году. — Е.Ц.) от самого *й*.

Нравится ли ему роль богача? Бесспорно. Может быть, нравится с детства. Вот и отца, фабриканта, *й* делает — в своих устных рассказах — гораздо богаче, чем тот был на самом деле.

А может, ему кажется: так эффектнее, контрастнее, что ли, выглядит его сегодняшнее кредо: «Ничего уже мне в жизни не надо».

* * *

РАЗГОВОР С ИИСУСОМ ХРИСТОМ. 11 ноября 92 г.

— ...Я говорил с Христом два часа. Писал монолог для своей пьесы.

Уточняю:

— О чем именно беседовали?

— Вы ведь знаете меня — угадывайте...

— Наверное, о том, что тяжелее: любить или быть любимым, просить прощения или его принимать.

— Угадали! Почти угадали. Мы говорили о том, нужна ли вообще любовь, может ли она изменить человека. Не совершил ли ошибку Христос, поставив любовь в центр своего учения.

* * *

Не знаю, есть ли где-нибудь в его архиве заметки с таким определением собственного призвания:

«ДРАМАТУРГИЯ — СУТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. Я нашел себя в ней. Растворился. Диалог для меня — универсальный способ бытия. К сожалению, я нашел себя поздно. Кроме того, я никогда по-настоящему не был советским драматургом. Потому

приходилось изворачиваться, говорить со зрителем намеками. Иногда это было даже на пользу пьесе. Но нет, далеко не всегда...» (Из разговора за ужином, 15 ноября 92 г.)

* * *

Признается: нередко он как бы составляет «сценарий» своих отношений с тем или иным человеком. В «сценариях» *й* обычно много неожиданностей («так интереснее»).

Время от времени я думаю: а что ожидает в его планах меня?

* * *

Не сомневаюсь: он хотел бы прожить множество жизней. Причем прожить по-разному. Не этой ли цели служит, в конце концов, его «ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА»?

Вечером (12 декабря 1991 года. — Е.Ц.) застаю у него фотографа, который должен сделать серию снимков *й* для какого-то журнала.

На бархатную скатерть, на красивый старинный столик, водружен альбом с фотографиями. Зачем их сейчас, перед съемками, пересматривать?

«А как же! Чтобы не было повторов. Вдруг та или иная поза уже использовалась мной раньше? Знаете, я люблю сам режиссировать, когда приходит фотограф!»

И вот, втроем, перелистываем страницы альбома.

...Глаза *й* на снимке полны иронии. Поперек лба — две резкие тени. Черт? Кого же он искушает? Свое второе «я»?

Дедушка и внучка. Он лучится добротой. Почти «рождественский» снимок.

Пятидесятые годы. *й* — за письменным столом. На его голове — еще пышная шевелюра волос. Он подтянут и оптимистичен. Советский писатель, озабоченный проблемами соцреализма.

Городской рынок. Тоже символ людского мира. Человек, вдруг остановившийся среди спешащей толпы. В одной руке — трость, в другой — большой конверт. Фон: огромные связки фруктов.

Солдатская гимнастерка, фронт. В прищуренных глазах — вопрос: «Так что же там, впереди?»

Выставка живописи. Чужие работы так похожи на декорации к пьесе его собственной жизни.

Вдвоем с женой. Счастливая семейная пара. Ей пятьдесят, ему — шестьдесят. Он отбросил голову назад, раскатисто смеется.

Увлеченно ковыряет ложечкой яйцо. На обороте снимка — надпись, сделанная в ноябре 1977 года: «...кто же был раньше — я или яйцо?»

Фотографий множество. Каждая — словно мизансцена нового спектакля. *й* примеряет новую маску. Легко входит в новую роль.

Но где же он подлинный? Где его собственное лицо?

Говорю ему об этом, когда мы начинаем беседовать, включив магнитофон. Он ничуть не обижен. «Где мое истинное лицо? Вот это вопрос! Я и сам не знаю. Я все еще ищу себя. Даже сейчас, перед смертью».

* * *

Его «театральность», склонность к мистификациям раздражает многих литовских евреев. *Й* знает их позицию и демонстрирует ее в нашем разговоре достаточно четко:

— Театр? Ну какой может быть театр для литовского еврея? Какая может быть пьеса, кроме трагедии? Ведь рядом — Понары... А Йосаде? Он просто старый фигляр.

* * *

ТЕЛЕГРАММА, посланная *Й* в Паневежский драматический театр в связи со смертью Юозаса Мильтиниса:

«Он еще при жизни стал легендой. А легенды не умирают. Мильтинис жив. Жив. Йосаде».

Й читает мне телеграмму по телефону. Конечно, она банальна. Чуть выводит из банальности повтор в тексте: «...жив. Жив». Кажется, впрочем, это автор телеграммы упрямо повторяет и о себе самом!

А потом *Й* рассказывает мне — в который раз! — о Мильтинисе. О первой их встрече где-то в кафе. («Я поделился замыслом рассказа. И он воскликнул: «Тут уже сюжет пьесы! Приезжайте ко мне, я покажу вам, как делают драму»). О своем приезде в Паневежис. («Он открыл мне дверь, я ахнул: старый халат, на голове — чалма, скрученная из полотенца. Он не ждал меня? Но ведь я приехал вовремя. А может быть, наоборот, ждал? И нарочно надел халат вместо какой-нибудь бархатной куртки, положенной «по рангу» знаменитому режиссеру»).

Это «примеривание» жизненной роли, бесспорно, близко самому *Й*.

«Потом Мильтинис, как и я, занял свое место в ложе...»

Й замолкает внезапно. Видимо, вспоминает, что в театре, как и в жизни, занавес рано или поздно закрывается. (15 июля 94 г.)

«ЯРЫЙ ВРАГ ТАЙН»

Наблюдательность? Любопытство? Как точнее назвать эту его черту, которая так гипертрофирована у *Й*?

Выспрашивает у меня бесконечные подробности о знакомых и совсем не знакомых ему людях. О моей дочери (никогда ее не видел). О бывшем муже Ю. («Вы говорили, что он коммерсант. Ну, и на что он сейчас надеется?»). О распорядке дня З.,

о романах С., с которой говорил разве что по телефону... Как расставляет он мысленно эти человеческие фигурки?

* * *

Потому-то в отличие от большинства писателей *й* любит не только поговорить. Любит слушать.

* * *

Осенним днем гуляем с ним неподалеку от его дома — по улочкам, которые *й*, десятилетиями раньше, исходил вдоль и поперек.

Он знает едва ли не каждого. Знает: «кто и где работает, кто и как ворует, кто и с кем спит...» Говорю ему в связи с этим: «Бабель часто мечтал узнать содержание той или иной женской сумочки». — «Как он был прав... Какие здесь могут открыться тайны!»

* * *

Подобно тому, как библиофил ищет редкую книгу, *й* порой месяцами разыскивает того или иного человека. К примеру, на протяжении нескольких лет произносит имя одной молодой женщины: «Как и где я могу ее все-таки найти? Мне это так важно!»

Она литовка; решительно приняла иудаизм, соблюдает традиции, выучила сначала идиш, а потом иврит, работала в архивах и библиотеках, постигая судьбы еврейской интеллигенции в Литве предвоенной поры... Однако *й* волнует ее собственная — не ясная ему — судьба.

* * *

Это он, конечно, сказал не о персонаже пьесы — о себе самом: «...Ярый враг тайн. Таков уж характер. Стоит мне столкнуться с тайной, как безумно хочется разгадать ее».

* * *

Вспоминая о людях, *й* почти никогда не употребляет отрицательных характеристик. «Нравится — не нравится... Это совсем не предмет размышлений. Мир ничуть не изменится от того, как я к нему отнесусь».

Люди для *й* интересны или ...менее интересны. Неинтересных нет совсем!

Другое дело — хочет ли он общаться с тем или иным человеком? Говорит, что за пятнадцать минут может определить: личность перед ним или нет? Фигуры, закутанные в стереотипы, близко к себе не подпускает. («С детства ненавижу толпу!»).

Однако всегда стремится изучить «представителя толпы» («Я хотел бы влезть в каждую душу!»)

* * *

Вот и опять:

— Какой интересный человек! Был четыре раза женат. Каждая жена похожа на предыдущую. Только менее красива...

Есть ли в словах его ирония? Ничуть. Наверное, интересно *й* то, о чем он сейчас молчит — предопределенность нашего выбора. Опять-таки: судьба.

* * *

Некоторые человеческие качества он вообще подвергает сомнению: «Не знаю. Не встречал». Например, героизм.

«Я прошел фронт, но героизма нигде не видел. Вы знаете, со мной откровенны многие люди. Так было и в окопах. Часто перешептывались мы ночью, открывали друг другу душу. Слышал: «Не хочу отдавать животик». Но никто и никогда не говорил о героизме и патриотизме.

Я видел другое: каждый хотел жить и каждый боялся смерти.

Видел: у многих на фронте не выдерживают нервы. Большинство из тех, кто первым поднимался в атаку (я их знал хорошо), были именно такими людьми. Нет, они не были героями или какими-то особыми патриотами. Получаешь приказ: «Ну, давай!» И тогда уже ни о чем не думаешь. Наконец, есть ситуация, когда иначе поступить нельзя.

А герой, по-моему, — это человек, убежденный в том, что делает».

* * *

Прочитав один из диалогов его пьесы «Прыжок в неизвестность», опять вздрагиваю. А он соглашается: «Конечно, дорогой мой. Это обычный мой способ изучения человека».

ЮЛЮС. ...Вдруг почувствовал, что вы пристально следите за каждым моим движением: как я кладу ногу на ногу, как удобно откидываюсь на спинку кресла и даже, как выпускаю дым из носа и рта. Наблюдаете и следите не из любопытства, а испытующе — у меня мороз по коже пробежал...

САКАЛАС. Ничего в этом плохого нет, я наблюдателен. Понятия не имею, от кого я это унаследовал...

ЮЛЮС. ...Вы специально создаете ситуации, которые вынуждают меня вести себя с Бируте одним образом, с вашей супругой — другим, а с Саломеей — третьим. Если

же эксперимент не подтверждает вашу генетическую теорию, создаете новую коллизию и приступаете к следующему эксперименту. Я постоянно чувствую себя так, будто меня ворочают, мнут и тискают в лабораторной пробирке.

* * *

5 и 6 ноября 90 г. «Я долго тренировал себя в искусстве наблюдать. Когда-то я был таким, как все: несмотря на любопытство, люди мало что замечают вокруг. Смотрят и — не видят.

В юности я более года посещал одну еврейскую семью. Там — в сущности, при мне — торговали кокаином. Я этого, однако, не понимал.

Это было в Каунасе. Поскольку мои заработки в газете были скудны, я ежедневно давал несколько уроков.

В ту семью я являлся примерно в три часа дня. Некоторое время сидел в гостиной — ждал, когда меня пригласят обедать (обед входил в условия оплаты моего труда). Обычно рядом со мной сидели на софе какие-то люди. В основном это были не евреи — важные господа, чиновники. На меня они не обращали внимания: «Ах, это учитель!» Я тоже меньше всего думал о встречах в гостиной. Гораздо больше меня волновала моя пятнадцатилетняя ученица. После обеда мы занимались математикой: мне так мешали сосредоточиться ее круглые коленки...

Только много месяцев спустя я догадался спросить девушку о странных посетителях их квартиры. Ответ был простодушен — меня в этом доме ничуть не стеснялись:

— Они специально приходят к нам покурить. Мама дает им что-то, от чего становится хорошо».

* * *

Наш диалог (3 сентября 90 г.). *й*:

— Моя соседка — молодая еще женщина — призналась мне, что спала раньше со своим отцом. Когда тот был моложе.

— О чем же вы спросили ее?

— О том, какие они вели разговоры в постели.

— И что же...

— Не помнит. Ничего не помнит. А, может, они молчали. Для того, чтобы говорить в подобной ситуации, нужна полная свобода от морали, точнее — новая мораль.

* * *

...Спустя полвека ему все более и более интересна врач из Талды-Кургана. Когда-то во время войны *й* — беженец — пришел в поликлинику на прием. Вскоре врач донесла на *й* (своего пациента) в НКВД.

«...Очень симпатичная женщина — настоящая русская красавица. Она щупает мой пульс, слушает сердце, смотрит горло... Что-то спрашивает. Мой акцент, мой плохой русский язык (я ведь его никогда не учил) вызывают вопросы:

— Откуда вы? Из Литвы? Где это — Литва?

Ну и начинаю рассказывать. Мол, это не так далеко от германской границы.

— Так вы знаете немцев?

— Конечно. И даже очень хорошо. В нашем городке жило много немцев. Кстати, немцем был и самый лучший мой друг юности.

— Так что же это за народ?

— вспомните сами. Немцы дали миру Канта, Бетховена, Баха... Но вот пришел Гитлер...»

А потом она смазывала *й* горло, выписывала рецепты... А потом *й* отправился в столовую — заказал борщ, сел за столик. Тут-то он увидел в дверях человека. Тот уверенно поманил *й* пальцем: «Идите за мной...»

Спустя полвека *й* добродушен:

— ...Скорее всего та врач была хорошей русской женщиной, патриоткой. И, наверное, гордилась тем, что выполнила свой долг — помогла фронту, приблизила победу.

* * *

Интересен ли себе он сам? Очень! Особенно в моменты кризиса, растерянности. И конечно, становления.

10 декабря 90 г. Наш разговор начинается с его вопроса:

— Вы спрашивали меня, где же подлинное мое лицо?

Это по поводу смены поз на фотографиях, перемены «ролей», вечной «игры»...
Продолжает:

— Суть, существо индивидуума — от Бога. Но вот проблема: человек не знает себя. Он сам для себя — закрытая коробочка. Всю жизнь хочет ее открыть. Понять: «Кто же я такой?» И человек ищет себя — развивает, формирует.

— А может, при этом и губит?

— Может быть, и губит. Он ведь не знает, в какую сторону идти. Ищет.

— Надо прислушаться к себе...

— Обязательно! Да только не каждый умеет... Мне, на первый взгляд, легче. Я пишу пьесу, в которой действует приблизительно десять персонажей Я рассматриваю

их, ищу их лицо. И — одновременно — ищу свое... А фотографии? Это пробы. Может, истинна та. А может, другая. Или эта? Бог знает! Я — не знаю.

— Но фотографии эти так далеки друг от друга!

— Что ж... Я словно в джунглях. Теряюсь... Это трагический процесс — искать себя.

Он сознает многоликость, многослойность человеческого существа. Потому добавляет:

— Если бы верна была одна фотография, портрет был бы слишком мелок. Внешне, может, это выглядело бы твердостью, определенностью натуры: «Глядите, вот я каков!» Но это был бы обман.

* * *

С такого интереса к человеку и начинается писатель. Скажу больше: настоящий писатель. Но свои наблюдения *и* почти не успел перенести на бумагу. Или долго не решался.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«И у меня теперь, как у всех. Всегда перед смертью человек возвращается в детство. Все остальное удаляется, отлетает постепенно. И он опять — маленький, одинокий — наедине с миром».

* * *

«Я расту в небольшом городке.

Семья как семья. Четверо детей. Я и три сестры. Я — старший. Одна сестра, взяв с собой грабли и лопату, уезжает в тридцать четвертом в Палестину — строить еврейское государство. Она и сейчас там. А двух других сестреноч, как и наших родителей, расстреляли в начале войны.

...Отца зовут Мойше, Мозес; мать — Фейгл. По-еврейски это значит «птица»! Она и похожа на птицу — очень энергична, не ходит, а летает. Я весь в нее. В городке знают: моя мама — большая умница, именно она ведет в нашей семье все дела — не только дома, но и на фабрике»...

* * *

Так и не случилось. Так и не поехали мы с ним в Калварию. Хотели: взглянуть вместе в глаза — нет, не людей — домов его детства. Вернуть — голоса, запахи, сказки.

Я заболел. И он поехал с сыном, Иосифом. Боялся потом спрашивать у него. Он отмалчивался. «Да, очень интересно. Но все изменилось...»

Очевидно, что поездка разочаровала *й*. До этого он был уверен: всего в нескольких часах езды существует заповедник его детства и юности. Но, оказалось, прошлое жило только в нем самом: дома и улочки, запахи субботнего ужина, женщины детства, старый мост, под которым он назначал свидания, тщеславные надежды, шорохи летней ночи...

* * *

Он возвращается в Калварию, когда рассказывает мне свой план экспозиции Еврейского музея в Вильнюсе. В этом плане я опять угадываю ненаписанную прозу *й*.

Итак, надо каким-то образом воссоздать в музейных залах несколько улочек Калварии. Нет, дело не в этнографии, точнее — не только в ней. Надо передать в музее ритм этой пропавшей, канувшей в безмолвие времени жизни. Синагога, лавочки, хедер, несколько домов; свадьба и хупа; брит-мила новорожденного — священный обряд обрезания, символизирующий связь народа и Бога...

* * *

й рад моему вопросу: почему? Он сразу выстраивает цепочку доводов.

«Литовские евреи всегда были «солью» восточноевропейского еврейства. В своем регионе (а речь не только о Литве, но и о прилегающих к ней некоторых областях Белоруссии и Польши) они создали совершенно особый мир... Создали и сберегли этот мир вплоть до той поры, пока — почти полностью — не были уничтожены сами.

Литваков (так они себя называли) не коснулись ветры ассимиляции, пронесшиеся над всеми странами Европы и Америки. Из года в год, из века в век литваки жили в своих городках и местечках, точно издревле — по неписанным законам Кагала...»

Я знаю, что последнее утверждение *й* чересчур прямолинейно: его собственная жизнь — тому доказательством. Но я не спорю с *й*. Только уточняю:

— Почему в музее надо восстановить именно кусочек Калварии?

— Так ведь это было сердце еврейской Литвы!

* * *

«Нужна статистика, — настаивает он. — Нужно, чтобы посетители музея почувствовали ритм бытия: количество свадеб, разводов, рождений... почувствовали колорит, душу, живой уклад быта — мебель... костюмы... книги... дневники... фотографии... телефонный справочник... песни».

Я говорю ему, что так (или почти так) устроены многие еврейские музеи мира.

Ему хочется спорить! Ах, как неприятно ему слышать это! Как же можно сравнивать еврейский музей Вильнюса, который не зря когда-то называли Литовским Иерусалимом, с другими музеями? Как можно уравнивать Калварию с другими местами? Как это можно — уравнивать с чем-то его, *й*, замысел!

ТЕНЬ ФРЕЙДА

Потревожу тень Фрейда. В данном случае мне не кажется это банальной данью моде.

й говорит о Фрейде часто (другие важные для него имена-символы: Шопенгауэр, Ницше, Стефан Цвейг, Фейхтвангер, Достоевский...)

й сознательно высвечивает отдельные эпизоды своей жизни. Хочет понять «тайное тайных» собственного характера. Понять вечное: кто я?

Из его рассказов о детстве и юности все время вспоминаю один. Резко очерченный, многозначительный. Кажется, это фрагмент какого-то фильма.

* * *

...Разорился отец. Фабрика вот-вот будет описана. Яков узнал об этом днем. А узнав, с удивлением прислушался к себе. В душе нет ни отчаяния, ни просто волнения. Лишь слабая жалость к отцу, смешанная с презрением. Тот часами стоял у окна: смотрел, как между оконными рамами бьется — напрасно сопротивляясь судьбе — застрявшая там муха.

* * *

Об отце *й* обычно говорит спокойно, но с каким-то привычным «отстранением». На днях (23 октября 1990 г. — Е.Ц.) *й* объясняет причину этой «отстраненности», которая далась ему нелегко. И не сразу.

«Мне было лет восемь-десять, когда я стал ощущать напряженную обстановку, царившую в нашем доме. Это было связано с отношениями между отцом и матерью. В чем дело? Разобраться я, конечно, не мог».

Он приглядывался, прислушивался, сопоставлял. («Прекрасная для будущего писателя школа психологического анализа»). Наконец, узнал: во всем виновата женщина.

Ее зовут Ева. Раньше она была служанкой в их доме, потом перешла работать на фабрику. С детства в памяти ее лицо — красивое, выразительное; ее полная фигура, олицетворяющая женственность.

В их семье не было тепла, гармонии.

«Я рано начал думать: почему? как это преодолеть? Чаще всего видел один выход: убить отца. Ведь он предал жену, детей.

Мне было тогда десять-двенадцать лет. Отца я ощущал как врага. Представлял: вот он идет к Еве, за ним следят из окон многие жители городка... Я пытался представить и свое мщение. Однако... Я все больше ужасался собственному плану. Наконец, понял окончательно: нет, отца убить не смогу!

Помню, как похитил в кухне большой нож. Им, наверное, разделявали мясо. Вот этим-то ножом, сказал себе, и убью ее.

Каждый день я доставал нож, сладострастно шупал лезвие. Пока не принял новое решение: да, я должен убить Еву, но — убить словами. Так однажды я и отправился к ней.

Мне было уже восемнадцать. Еве — около сорока. (Я недавно узнал, что все они, герои этого «треугольника» — отец, мать, Ева — родились в 1888 году).

Стояла поздняя осень. Лил дождь. У нас в доме горели свечи. Шабат! Царица-суббота. После праздничного ужина я вышел на темную улицу.

Я хорошо помню ту минуту, когда Ева открыла мне дверь. Мы оба растерялись. Несколько минут стояли в молчании. Потом я шагнул в комнату. Сел.

Увы, тогда я считал себя вправе судить других. Я предложил Еве — резко и категорично:

— С завтрашнего дня вы должны уйти с фабрики. Ищите себе другую работу.

Ева опомнилась:

— Ты — еще пацан, молокосос. Почему же ты указываешь мне, как жить?

Она распахнула дверь:

— Вон отсюда!

Я остался сидеть на стуле. Сказал ей, что жизнь ее отныне в опасности. Я никогда не прошу ей несчастья нашей семьи».

Ее слезы. Он разглядывает бедную комнату без удобств. Слышит — сквозь всхлипы — историю чужой жизни. Как и где достать завтра другую работу? Она одна, у нее никого нет. Фабрика для нее — вся жизнь. Она очень хорошо работает, помогает его отцу. Она почти хозяйка на фабрике: следит за другими, следит, чтобы не воровали, по-своему охраняет отца и их добро.

Его слезы. Его доводы: он несчастнее, чем она. Она ведь не знает, что творится у них в доме, как страдает мать, как страдают дети. Она начинает его успокаивать, гладить по голове. У нее нет собственных детей; может быть, ей кажется: это ее взрослый сын пришел к ней со своими бедами. Она сажает его к себе на колени, гладит, как ребенка, по голове. Она целует его: «Ну хорошо, маленький, успокойся, как-нибудь все обойдется...»

Его поцелуи. Сначала поцелуи сына. Потом... Он чувствует, что целует красивую женщину. Потом...

й прерывает себя:

— Знаете, почему я вам рассказываю это? Моя пьеса «Жертвоприношение» выросла из этого воспоминания.

Их роман продолжался месяц или полтора. Каждый вечер он был у Евы.

Спрашиваю: «А что же ваш отец?» — «Мы оба не думали тогда об отце, хотя... Наверное, их отношения тоже продолжались. Днем».

Никто ничего не узнал. Но вдруг Янкель словно остановился на ходу. Опомнился. Он не мог оставаться дома.

— Вы себе не представляете, что творилось во мне, когда я видел отца. В конце концов, уехал в Каунас. Это был побег. Видимо, с того дня началась для меня другая жизнь.

* * *

й вспомнил о пьесе «Жертвоприношение». Тема искусства, сопряженная с древней темой инцеста. Наши с ним споры (в октябре-ноябре 90 года). Герои: знаменитый скульптор, увлеченный новой работой; его дочь — тяжело больна, нужна пересадка почки, умоляет отца пожертвовать ради нее собственной почкой, в полубеспамятстве совращает отца. Финал пьесы. Трагедия жены скульптора, которая вдруг узнает обо всем и сходит с ума.

Сказал *й*, что, разрабатывая эту тему, можно достичь высокой трагедии или — скатиться в пропасть пошлости.

НИТЬ СТРАХА

23 октября 90 г.

— Расставаясь с жизнью, хочу от многого избавиться, очиститься... Я хочу рассказать о том, что так долго таил от всех...

И все же *й* не сразу произносит это слово — страх. Потом тема страха пройдет через многие наши беседы. Окажется: именно страх связывает плотно целые десятилетия жизни *й*.

Впервые мы подходим к этой теме сегодня. Подходим, вроде бы, случайно. Пьем кофе. Он спрашивает:

— О чем вы не успели написать, живя в России?

Размышляю недолго:

— Ну конечно, об удивительной роли страха в творческом сознании советского писателя...

Как всегда, *й* примеривает сказанное к себе:

— Чехов призывал каждый день выдавливать из себя раба... Я все эти тридцать лет прощания с жизнью «выжимаю» из себя страх. Знаете, недавно написал об этом письмо известной еврейской поэтессе Доре Тейтельбойм. Написал о том, что случилось во время нашей встречи в Израиле — именно под воздействием страха.

Я останавливаю *й*. Предлагаю вернуться на многие десятилетия назад, начать сначала. И мы записываем на магнитофон его воспоминания о первых, уже, кажется, похороненных страхах.

* * *

«...Мне — от тринадцати до пятнадцати лет, не помню точно, сколько. Однажды, когда мы с товарищем выходим на улицу, он показывает на какого-то человека.

— Ты заметил его? В любую минуту может тебя арестовать.

— Кто?

— Да он же...

Я прозреваю внезапно. Как же я не обращал внимания раньше? Ведь этот тип резко выделяется среди других жителей нашего городка. И все знают, откуда он. Тайная полиция! Черный котелок, строгий черный костюм — и летом, и зимой. И, может, потому — очень бледное лицо.

Это первая наша встреча. Потом уж я всегда замечаю его — издалека.

1926-й год, в Литве переворот. К власти приходит Сметона, его поддерживает армия. В одну ночь в нашем городке арестовывают пять или шесть человек.

За что? За убеждения. Все они — социалисты, ничего еще не совершили; но их взгляды не нравятся тем, кто теперь во главе государства.

С этих пор меня начинают преследовать сомнения: «Разве можно арестовывать за мысли?!» И еще: «Может быть, мысли кто-то читает?»

Конечно, я боюсь за себя. Я знаком уже с различными социальными теориями, с трудами философов, экономистов, публицистов разных направлений. Вдруг и я мыслю не так, как можно? Вдруг и меня арестуют?

Отныне, встречая человека в черном, перехожу на другую сторону улицы. А что если он «считывает» и мои мысли?

Избегаю его, но одновременно — хочу встретиться. Какая-то сила притягивает меня к человеку в черном.

Однажды я устремляюсь вслед за ним. Он заходит в парикмахерскую. Я тоже. Сажусь рядом. Весь — напряжение. Вот его приглашают в кресло. Вот, глядя в

зеркало, он наблюдает за всеми в зале. Наконец, смотрит на меня. По-особому, пронзительно.

Я запоминаю эту сцену навсегда. Наверное, подсознательно я уже готовлюсь стать писателем, хочу понять механизм Зла...»

— Не отсюда ли тянутся ваши страхи, связанные потом с советскими аббревиатурами — НКВД, МГБ, КГБ?

— Именно об этом я и хотел сказать вам сейчас. Именно здесь начинается особая линия моей духовной жизни.

Знаете, каждый раз, когда я прохожу мимо мрачного здания Госбезопасности в Вильнюсе, я, даже если очень спешу, невольно приостанавливаюсь. Бросаю быстрый взгляд. Почему? Потому что я провинился. Я все еще мыслю иначе, чем они хотят.

Я все еще их боюсь».

СНЫ

Если прав все тот же Фрейд, сны раскрывают скрытые закономерности жизни. Может быть, они многое могут сказать и о том, как человек идет к смерти. Вот почему записываю сны *й*.

* * *

«Вчера я увидел во сне т е м у картины. Тут же дал ей название: «МОЯ СВЕЧА, ИЛИ ЕВРЕЙСКАЯ СВЕЧА».

Да, это была именно горящая свеча! Однако она все же не походила на обычные свечи — причудливо изломана! В этом странном сгибе я видел то чью-то искривленную спину, то еврейский нос. А в язычке пламени с удивлением разглядел глаз. В основании свечи были черепа, отекающий воск вдруг превращался в кровь... Пламя светило еле-еле, поднимался слабый дымок. Где-то вверху сияло солнце...»

Он рассказал этот сон сыну, художнику, надеясь: вдруг заинтересуется, вдруг — в самом деле — родится картина. Потом позвонил мне.

ПРИГОВОР

24 октября 90 г. Тема вины, обычная во время исповеди. Признание вины. Покаяние. Вроде бы, именно это менее всего свойственно *й*. Но...

— Я сам подписал им приговор, — говорит он, рассказывая о смерти близких. — Сам. Сам!

Преувеличение? Не такое уж сильное, если следовать логике фактов. Вот уж полвека мысль *й* бьется в этом лабиринте. Безрезультатно. Он никогда так и не сможет распутать трагический клубок. «Как жутко, как логично это оказалось связано друг с другом — мой характер, мои поступки, события, не зависящие от меня. Наконец, их смерть...»

Итак, сороковой год. Советская власть открывает в Литве ворота тюрьмы для политзаключенных. Среди тех, кто получает волю — Юозас Жямайтайтис. Простой парень, сапожник из Калварии. В тридцать первом он попался с прокламациями. Получил десять лет заключения. «А я, между прочим, был сочувствующим партии, активным мопристом, больше того — секретарем МОПРа в нашем городке. Моим заданием было: каждый месяц собирать по десять литов и отдавать их потом сестре Жямайтайтиса. Она, купив продукты, отвозила посылки брату, в Каунасскую тюрьму. Между прочим, деньги я собирал даже с рабочих фабрики своего отца».

Вот так он и выжил, будущий партийный и советский работник Жямайтайтис.

— Когда его освободили, сестра Жямайтайтиса, встретив брата у ворот тюрьмы, привела его ко мне. В мою каунасскую комнатку. «Вот твой спаситель!» — «Очень приятно!» — «Мне тоже».

Они по-настоящему интересны друг другу. Говорят о многом и — откровенно. Жямайтайтис живет у *й* несколько суток. Потом уезжает в Калварию. «Он стал там одним из руководителей городка, кажется, первым секретарем райкома».

14 июня 1941 года. Черная дата. Многих жителей Литвы отправляют в ссылку и лагеря.

— В шесть утра мне позвонила мать: «Янкель, нас увозят в Сибирь! Если можешь, спаси!»

— Я взял такси. В восемь утра уже был в Калварии. Сразу же — не к своим — в горком. Вхожу. Комната набита людьми с карабинами. Накурено так, что лица почти не видны. Я прохожу к Жямайтайтису. Он сидит за столом, энергично отдавая кому-то распоряжения. Хозяин! Увидев меня, побледнел: «Выйдите все!»

Диалог их недолог, но как много он решил!

— Мою семью тоже в Сибирь?

— Тебя я не трогаю.

— А мать, отец, сестры?

— Тебя я не трогаю.

— Что будет с моей семьей?

— Не знаю.

— Покажи списки.

— Вот они, лежат на столе.

Конечно, в списках есть и семья калварийского фабриканта Йосаде.

— Ничего не могу сделать, ничего.

й выходит на улицу. Вскоре его догоняют: «Вернитесь. Вас ждет товарищ Жямайтайтис».

Теперь главная фраза. Она полвека звучит в ушах *й*:

— Возьми карандаш и сам вычеркни.

Взял. Вычеркнул. О чем потом много раз пожалел. Жямайтайтис подходит к нему, целует. Говорит, глядя куда-то в сторону: «Иди! И чтобы больше я тебя здесь не видел».

Спрашиваю *й*:

— И не виделись?

— Да нет — встретились в Шестнадцатой дивизии. Жямайтайтис был у нас около года, затем куда-то исчез. Я думал — погиб. Но случайно узнал: его перебросили в Литву.

После войны Жямайтайтис — «на первых ролях» в Мариямполе. Они столкнулись на каком-то торжественном заседании в Вильнюсе. Оба обрадовались. Да, конечно, надо посидеть, есть что вспомнить. «Это была последняя встреча. Говорят, Жямайтайтис спился, стал руководить каким-то подразделением коммунальной службы, вскоре — умер».

Одна деталь больше всего волнует *й*: «Почему он протянул мне карандаш? Я сам! Собственной рукой! Я подписал своей семье смертный приговор. В Сибири они, может быть, и выжили бы».

й пытается и здесь увидеть знак судьбы. Как прочитать этот символ? Он бьется над этим долгие годы. И конечно, не может расшифровать.

НАЧАЛО

Начинать в литературе всегда трудно. Начало редко связано с радостью, чаще — с горечью: бывают ошибки! Тогда следуют долгие годы поисков, разочарований. Порой автор так и не находит свой путь, прощается с искусством. А ведь талант был!

й начинал легко.

— Я посвятил свой первый фельетон (в ту пору так называли в газетах зарисовки быта и нравов) одной еврейской девушке. Она встречается на городском кладбище с парнем-литовцем; за влюбленными следят; однажды их ловят на «месте преступления». Банальный эпизод? Между прочим, такое случалось тогда редко. К тому же меня меньше всего интересовала внешняя, интригующая всех сторона события. Я хотел понять психологию — родителей девушки, ее подруг, соседей...

й отправил свой фельетон в Каунас, в известную еврейскую газету «Идише штиме». Она расходилась не только по Литве — по всей Европе.

Он набрался терпения. Стал ждать. Неожиданно для него ждать пришлось совсем недолго. Нет, письма из редакции не было. В первую же субботу, развернув, как всегда сдвоенный в этот день, номер газеты, *й* увидел свой фельетон.

— Редакция не изменила в моем тексте ни слова.

Городок гудел от пересудов. Действующих лиц узнали сразу, хотя их имена в фельетоне были не названы. Все гадали: кто автор? *й* подписался псевдонимом. Но разглядеть «бытописателя нравов» в гимназисте не смог никто.

Он стойко хранил свою тайну. Он жил уже будущими публикациями. Не сомневался: теперь, после шумного и успешного дебюта, станет одним из ведущих авторов газеты.

Конечно, *й* ошибся. Дальше все у него было, как у других. Как обычно: лавров мало — в основном тернии.

— Послав в редакцию свой второй рассказ, я получил ответ от самого Рубинштейна — знаменитого еврейского журналиста и редактора.

В письме было несколько фраз: «Печатать рассказ нельзя. Он еще сырой. Все же очевидно: у автора — острый взгляд».

й был в отчаянии. Но бросить писать уже не мог.

— Только спустя много лет я понял: Рубинштейн тогда не просто снисходительно похвалил меня — он в меня поверил.

Дебют *й* оказался удачным. Потому что он начал точно. С того, что потом волновало *й* всю жизнь. Да, с «разгадки тайны». Его рассказы и повести, опубликованные перед Второй мировой войной в еврейских газетах, журналах, альманахах, — это в основном психологические портреты «маленького человека». Они — о «тайне», с которой мы рождаемся и потом уносим за собой в могилу.

Кстати. В том, самом первом фельетоне *й*, звучит уже главная тема его творчества последних лет. Любовь на фоне смерти, отношения евреев и литовцев...

МЕЖДУ ПРОЧИМ

«Когда я попал в Шестнадцатую литовскую дивизию, она была еврейской едва ли не наполовину. А, может, больше?»

В строю пели песни на идиш. И это была не какая-то самодеятельная инициатива — приказ командира: «Давай еврейскую песню!» Между прочим, песни на идиш подтягивали и литовцы.

Верующие евреи? А как же! Были. По утрам они молились. Хотя потом все равно ели из общего котла — не соблюдали принцип кошерности пищи.

В землянках висели стенгазеты на идиш. А как же!

К концу войны евреев стало гораздо меньше. Лучше сказать: совсем мало. Погибли!

Говорю я это, конечно, не ради спора с антисемитами: мол, воевали мы не под Ташкентом.

Просто вспомнились сегодняшней ночью лица убитых...» (ноябрь 90 г.)

ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ

Время от времени *й* говорит о своем некрологе. Тот, кто будет писать этот некролог, не должен также забыть:

ЕГО ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК. «Сразу после войны я стал директором Вильнюсского филиала московского еврейского издательства «Эмес». Уже начали работать над несколькими книгами на идиш. И, конечно, как принято было тогда, над «Кратким курсом истории ВКП(б)». Ничего не вышло! Нам не выделили бумагу, необходимые шрифты... Мы обращались в ЦК, писали докладные записки... Обещали помочь, называли сроки... Все, однако, оставалось по-прежнему. Кто-то невидимый уверенно сдерживал, сознательно тормозил все начинания, связанные с возрождением еврейской культуры после войны... Наконец, я догадался: здесь нет случайности!»

* * *

«...Жили впроголодь. От отчаяния я пошел в завхозы! Работал в спецполиклинике: в моем ведении были столы, кровати, простыни. Вечером, придя домой, я не мог найти себе места. В тоске гадал: «Что будет со мной? С моими планами?»

Казалось, все кончено».

* * *

В 1948-м — 59-м *й* работает в журнале «Пяргале». Сначала — заведующим отделом критики, потом — ответственным секретарем.

«...Между прочим, почти в каждой редакции был тогда «свой еврей»: ответственный секретарь, реже — заместитель редактора. Начальство менялось, шло на повышение — «редакционный еврей» оставался на своем месте. «Наверху» знали: так и должно быть. Еврей — трудолюбивый спец — обеспечивал порядок, преемственность в делах.

Это были признаваемые всеми «условия игры».

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ВИТЕНБЕРГА

16 сентября 91 г. Четыре варианта его пьесы «Ицик Витенберг». Я читаю первый и последний. Совсем мало общего. Конечно, и там, и там есть реальная судьба руководителя подпольной организации Вильнюсского гетто. Есть абрис его жизни, героизм и трагедия: Витенберг, как известно, сам сдался в руки гестаповцам, иначе они грозили уничтожить гетто. На следующий день Витенберга нашли — мертвого, изувеченного — в тюремной камере. Говорят, он отравился, приняв цианистый калий, который ему передали с воли.

Первый вариант пьесы, 1946 год: типичное произведение социалистического реализма, типичный герой-руководитель из народа (Витенберг был сапожником), единение с массами, человек спокойно отдает жизнь во имя великой цели.

Последний вариант, 80-е годы: мучительные вопросы героя перед смертью, драматург рассматривает экзистенциальные коллизии, отчуждение человека, идущего на гибель, его последние, одинокие шаги в вечность.

Я не сомневаюсь: люди, знавшие Витенберга и занимающиеся при чтении взвешиванием «похож — не похож», вряд ли пришли в восторг от пьесы *й*. Тут важно понять жанр. Я бы определил его так: «Вариации на тему Витенберга».

Но почему и как *й* изменил концепцию характера героя?

— ...Я сам в это время думал о смерти. Я легко представил себя на месте Витенберга. Сомнения. Поиски выхода: как поступить? Метания. Нет, с жизнью не так просто расстаться.

* * *

И еще, создавая последний вариант пьесы, он вспомнил, что в сороковые годы уже распутывал клубок «загадок» Витенберга.

— Известно, что у Витенберга была семья. Но известно и другое. У него в гетто была любовница. После войны я случайно узнал: та женщина жива.

Она обитала в старом городе, на улице Траку. В маленькой комнатке коммунальной квартиры, на втором этаже.

Я нашел повод познакомиться. Дал понять, что увлекся ею. Нет, между нами, конечно, ничего не было. От тривиального романа меня удерживала недавняя женитьба — по любви. Мы много гуляли, порой заходили в кафе. Иногда, вечерами, она поила меня чаем. Я ненавязчиво задавал вопросы — о жизни в гетто, о Витенберге, о ней самой.

Родилась она в семье еврейского богача из Лодзи, в Вильнюс попала перед войной. Была она все еще молода, красива и, пожалуй, умна.

Свои записи тех бесед я сжег. Среди деталей, которые храню в памяти, — платье старухи. Его надел Витенберг, когда хотел убежать из гетто.

* * *

Развязка этой истории загадочна и неожиданна — как многое из того, что связано с Витенбергом. Однажды *й*, придя к своей новой приятельнице, обнаружил: ее комната пуста. Любовница Витенберга исчезла. Видимо, все это время она тоже изучала *й*.

ЕЩЕ ОДНО ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Сартр хотел создать биографию Флобера. Подробнейшую, на несколько тысяч страниц. Портрет писателя: поиски, замыслы, лаборатория, увлечения, идеологические влияния...

Спрашиваю себя: зачем же пишу я? Для чего вместе с *й* мы осуществляем этот эксперимент?

Пять лет — оторванные у его пьес лучшие дневные часы; долгие вечера, переходящие за полночь.

Пять лет. Теперь они в нескольких моих тетрадях, десятке магнитофонных кассет. Однако зачем?

* * *

Как ни странно, эти вопросы связаны с другим вопросом: что я пишу? Однажды понимаю: это нечто большее, чем книга. Во всяком случае, цели «эстетические» сжимаются вдруг, кажутся чересчур мелкими. А «нечто» в моих тетрадях приобретает свою форму — рифмуется с чужим — разорванным — сознанием.

* * *

Впрочем, для меня очень важно, что это сознание еврейского интеллигента.

«О том, как гибла еврейская культура в СССР, напишут еще многократно, — думаю я. — Но точна ли будет эта история без истории жизни одного человека, одного творца: неважно даже — знаменитого или малоизвестного? Конечно, исследователи отметят аресты и расстрелы еврейских писателей, артистов, ученых; зафиксируют, как перестали выходить книги на идиш, как закрывались еврейские театры, газеты, школы, как появлялись антисемитские статьи, в которых каждое слово — точно удар кастетом... Но на полях истории лишь промелькнут испуганные глаза; ночи, наполненные страхом; пепел сожженных архивов. И еще — едва ли не главное —

самоуничтожение таланта. Да! У того, кто хотел выжить в те годы, был и такой путь — саморазрушение своего дара. Талант оказывался опасным. Притом, не только для тоталитарного общества — для самого творца. Как важно проследить этот процесс. Увидеть изнутри. А ведь *й* хочет говорить! Не собирается ничего утаивать. Не щадит себя...»

ВХОД В ЛАБИРИНТ

О своих предательствах *й* поведал честно, ничуть не пытаюсь оправдаться. Понимает ли *й*, что самое большое предательство он совершил по отношению к себе?

* * *

После войны переименовал имя. Был Яков. Стал Йокубас. Думал и писал по-еврейски, теперь — по-литовски. Даже дневник. Даже письма дочери в Израиль.

Может быть, он и сам не сразу заметил, как произошел этот поворот. Казалось, просто следует совету друзей:

— Говорите дома с женой по-литовски. Если, конечно, хотите овладеть этим языком.

Жена была поражена. Пробовала протестовать. Потом смирилась: все-таки цель была понятной, в сущности, утилитарной.

Как, однако, объяснить, что через некоторое время *й* сознательно лишил своих детей языка, на котором говорили их деды? Первые слова и Ася, и Иосиф произнесли по-литовски. Он захлопнул перед ними дверь в мир еврейства... «Хотел уберечь их от многих бед», — говорит *й*. (Между прочим, то же самое я слышал и от других еврейских писателей). Признался: «Редко, совсем редко рассказывал детям о наших корнях, о Калварии, о боли, которая во мне самом не утихала никогда».

По сути, в наших беседах два главных сюжета: его саморазрушение; его возрождение как личности и творца (правда, последнее так до конца и не состоялось).

* * *

Почему он это сделал? Несколько раз *й* дает объяснение происшедшему. Я не удивляюсь тому, что эти объяснения разнятся. И в том, и в другом — правда.

«Мой читатель лежал в Понарах, в смертных ямах по всей Литве. Я искал нового читателя. А он говорил по-литовски».

Самое точное объяснение, однако, иное: страх. Интуиция, удивительная интуиция *й* подсказала ему: скоро, совсем скоро начнутся новые преследования евреев. И, вероятнее всего, наступит конец еврейской культуры в СССР. Трезвый расчет

продиктовал выход: он должен срочно стать литовским писателем. Потом, в письме к дочери, *й* заметит: «Я вовремя сбежал из еврейского края».

* * *

Еще бесспорнее свидетельствует о происшедшем давний, но — оказалось — не забытый семейный конфликт. Доктор Сидерайте рассказала мне, что никак не могла понять: зачем мужу нужно было обращаться в милицию — зачем он так хотел, чтобы его литовское имя обязательно внесли в паспорт?

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ В ЛАБИРИНТЕ

Свою первую рецензию в журнале «Пяргале» *й* пишет по-литовски...

— ...Но я быстро догадываюсь: получилось совсем не то, что хотел написать.

Вот тогда-то он продумает довольно сложный «технологический» процесс: первый вариант статьи должен быть на идиш, затем один знакомый журналист делает перевод на литовский (разумеется, за плату), затем *й* внимательно сравнивает оригинал с переводом — анализирует языковые конструкции, учится...

Так продолжается долго — несколько лет. *й* становится в это время известным в Литве литературным критиком. Наконец, постепенно, он отказывается от переводчика.

* * *

То, чего он добился в короткое время, не может не восхищать. Победа? Разумеется, поражение. *й* был обречен, но не понимал этого. Он надеялся, что сумеет перестроить, переделать себя. При этом *й* не хотел стать «средним» литовским писателем.

Между тем история литературы знает только два-три примера, когда художник слова «менял» язык и добивался подлинного успеха. Может быть, самый известный пример: Владимир Набоков. Его проза стала событием не только в русской, но и американской литературе. Однако ведь Набоков свободно знал английский с раннего детства...

* * *

й всегда напряженно думает о своих отношениях с литовским языком. Должно быть, в старости понимает: чужой язык уже никогда не станет родным. Все же он надеется выйти из этого лабиринта: «Для чего тогда еврейская голова?»

Говорит многие годы подряд жене, а теперь мне:

— ...Есть литературные жанры, где язык не так важен. Это как раз те жанры, в которых работаю я: драма и литературная критика.

Я жалею *й*, молчу. Логика его рассуждений поверхностна. В самом деле, в пьесе на первый план выходит действие, в литературной критике — движение мысли... Но драма мертва без ярких диалогов. А все логические построения статьи рассыпаются, если не скреплены лирическим, личностным пафосом автора. Ремесленник может написать драму или статью «средним» языком, Ибсен и Брандес — не могли.

й любит порассуждать также о двух русских классиках, язык которых якобы небрежен, но которые от этого ничуть не становятся меньше, — о Толстом и Достоевском. Тут (поскольку речь о самом *й* впрямую не заходит) я резко спорю с ним. Цитирую ему свою давнюю книгу о писательском труде — «Беседы в дороге». Там есть страницы, посвященные «псевдонебрежностям» со словом — Толстого, Достоевского, Пушкина...

Лабиринт потому и лабиринт: он не имеет выхода. *й* думает по-литовски, даже ведет по-литовски дневник. Но нет свободы, полета. И нет уверенности.

Отдает свои вещи редактировать литуанистам. Разрешает «переписывать» себя, если у редактора есть желание.

Он признается: пишет тяжело, медленно, будто ворочает глыбы. Только мыслит весело. «Придумывать пьесу — счастье, писать — каторга».

Может быть, это и есть его главная драма? Замыслы разбиваются, по-настоящему не воплощенные в языке.

БУМЕРАНГ

12 августа 90 г. Дочь *й*, Ася, уехала в Израиль в семьдесят втором году...

Я смотрел сегодня на ее фотографию в кабинете отца — на стене, в простой металлической рамочке: обычная еврейская девушка, одета во все белое.

В тот год она окончила университет, работала программисткой. Однажды пришла к отцу, села напротив:

— Папа, я хочу тебя оторвать. Дело в том, что я уезжаю...

— Куда?

— В Израиль.

Он ответил спокойно:

— Это твое дело. А я никуда из Литвы не тронусь.

«Так и улетела. И уже почти двадцать лет там. И ни разу за эти годы не захотела взглянуть на родной дом».

Бумеранг.

й не произносит это слово. Но оно как бы за скобками его недоуменных вопросов. «Не могу понять, почему она уехала? Как возникла у Аси сама эта мысль? Ведь она

была так далека от еврейства — когда росла, в семье нашей уже не звучала еврейская речь, у девочки не было еврейских подруг...»

Я не сомневаюсь, однако, что ему самому приходило в голову простое объяснение. Бумеранг.

* * *

2 сентября 95 г. Добавлю к этой записи: каждый из них — мать, отец, брат — в течение двадцати лет один раз видели Асю. Были, по очереди, в Израиле. А она приезжала прощаться с отцом. Приезжала трижды. Он угасает медленно.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕПЛЕ

Страхи *й* можно классифицировать. По периодам. По длительности. По причинам возникновения. По силе интенсивности страха, если можно так выразиться. (Я сознательно не стал обращаться к специальной литературе, чтобы мой дневник не напоминал записки студента-психиатра).

* * *

— На войне, как многие люди, я не испытывал страха.

— Когда же он появился?

— Сразу после войны...

Это, конечно, не так. *й* запомнил: страх был и раньше. Только после фронта усилился.

* * *

Первая его встреча с энкаведистами — тоже во время войны (в эвакуации, после визита к врачу и посещения столовой). Встреча показалась сначала обыденной, а завершилась, в конце концов, трудовым лагерем, где *й* чуть не погиб. Но, рассказывая, *й* вспоминает не это.

Свою досаду — «борщ так и не доел!»

Свое безоговорочное подчинение очередному «человеку в черном»: «А я ведь даже не знал, кто он такой».

* * *

Вторая встреча с энкаведистами — уже после фронта, в Вильнюсе.

Однажды *й* вызывают в горком партии, но там — в коридоре — его встречает посыльный:

— С вами хотят поговорить. Нет, не здесь — пойдете, я отведу вас.

й, вспоминая об этом, стремится, как всегда, быть честным перед собой. Удивляется: ему очень понравился сотрудник органов. Ласковые глаза, теплые белые руки, искренний интерес к еврейским писателям: что они за люди; как устроен их быт; в чем нуждаются?

* * *

Заметил ли *й*, что все люди этой «стаи» похожи друг на друга?

Не сомневаюсь: заметил. Иначе как бы узнавал их, когда они приходили в редакцию «Пяргале»? Не представившись, смело открывали дверь в кабинет главного редактора.

й опять пытается понять себя. Как же так? Его никто не предупреждал заранее, никто ни о чем не просил. Тем не менее он знал: во время этих визитов в кабинет главного нельзя никого пропускать...

* * *

Следующая встреча на явочной квартире проходит более жестко, по-деловому, без сантиментов... *й* дают понять: он теперь свой, почти сотрудник... Собеседника *й* интересует уже не быт, не биографии еврейских писателей — идеологические характеристики.

— Поэт Ошерович. Он ведь, кажется, еще недавно был сионистом?

— Поэт Суцкевер. Верно ли, что он не признает партийность литературы?

й уклоняется от ответов. Особенно его коробит финал разговора: нужно дать подписку, что никто не узнает об этой встрече. «Как? Почему?» — «Так будет лучше — для вас». Добрые глаза становятся строгими: это приказ.

* * *

й не любит рассуждать о морали. Но именно тогда, в конце сороковых, он устанавливает для себя некий барьер. Он говорит себе твердо: «Больше сюда не пойду!» Придумывает причину: «Недавно женился. Я обещал обо всем рассказывать жене». Причина банальна — в сущности, отговорка. Так пытались говорить с КГБ многие. Но важны не слова. Важна его решимость.

* * *

й никого тогда не предал, не сломал ничьей судьбы. Ему повезло. Но понимает ли он это? Я спрашиваю *й*, выключив магнитофон (чтобы никак не смущать). Попутно рассказываю историю старого писателя Сергея Снегова. Он много лет провел в норильском лагере, во время следствия не согласился ни с одним из обвинений. Мы часто встречались с Сергеем Александровичем в восьмидесятые годы. Он всегда

подчеркивал: «Мне повезло. Меня почти не пытали». *й* соглашается: «Мне повезло тоже...»

* * *

Я отбираю записи, связанные со страхами *й*. Однако понимаю: полностью это намерение выполнить невозможно. Большие периоды жизни *й* прошли только под знаком страха. Вот, к примеру, десять послевоенных лет: борьба с «космополитами», с «убийцами в белых халатах», ожидание репрессий после смерти Сталина...

* * *

20 ноября 91 г. ...Интересно, как он погружается в минувшее. Будто погружается в холодную реку — сразу, резко. Сначала трудно, а потом привыкаешь к холоду. И вот он живет в том времени. И снова мечется в поисках выхода из тупика.

«...Теперь я уже не помню, как звали эту девочку, нашу домработницу, — помню только: ей было лет девятнадцать-двадцать. Помню также: когда она пришла наниматься на работу, сразу сказал жене: «Ее надо принять». Она была хорошенькой... («Да, да, — не скрывает он от меня, и пленка фиксирует его откровенность, — были и такие варианты тоже, я не мог отказаться от этого...»). Она прожила у нас считанные дни. Ее арестовали ночью, я сам выходил открывать дверь. Потом мы узнали от приятельницы моей жены, рекомендовавшей нам эту домработницу: девушку взяли за то, что сбежала из своей деревни, когда всю ее семью отправляли в Сибирь... Вот моя первая мысль, едва они ушли: а что, если бы энкаведист открыл дверцу шкафа — да, шкаф уже стоял здесь, на этом самом месте — если бы он увидел папки с моими записями, с дневником? Страшно! Ведь в дневнике у меня были такие трэфные вещи! Антисоветские, понимаете? Я заносил туда то, что не мог сказать никому. То, что наблюдал в жизни. На сегодняшний взгляд, ничего необычного. Большие очереди. Блат. Партийная бюрократия. Трагические перемены, происходящие в еврейской культуре.

— ...Но дух ваших статей в то же время был иным?

— А в дневнике писал правду!

— Вы как-то говорили мне, что и то, и другое было искренним.

— И то, и другое... Свои статьи я оправдывал тем, что они написаны во имя утверждения коммунизма.

...Так вот, я подумал: дневник хранить опасно. Его надо спрятать или ликвидировать. Спрятать — где? Понимаю: нигде не спрячешь! Если захотят, найдут, все равно найдут. Гаража у меня тогда не было, да это был бы и банальный, легко

разгадываемый ход. Может, отдать кому-нибудь? Но никому не мог я довериться. Даже жене. Она чересчур наивна. И к тому же было ощущение: не нужны мне сейчас еврейский язык, еврейские беды. Это уже пройденный этап. Я ведь теперь литовский писатель. Надо ликвидировать следы моего прошлого! Эта мысль приходила ко мне все чаще и чаще. Она показалась беспорной после ареста моего друга, поэта Гирша Ошеровича. Однако как ликвидировать прошлое? Просто выкинуть бумаги в мусорную яму? Кто-нибудь обязательно заметит.

— ...Вы вели дневники в тетрадях?

— В тетрадях. Но не только.

— И много было этих записей?

— Много, много — несколько папок. К тому же выкинуть надо было не одни дневники.

Еврейские книги! Например, сочинения историка Семена Дубнова. Он ведь «буржуазный ученый, националист» — это трэфно. Или Перец Маркиш. Еще недавно считался выдающимся советским поэтом. Но теперь уже арестован — значит, тоже трэфно. Все еврейские книги, изданные за границей, — трэфны. И за все это меня могут арестовать. Да, да, только за хранение. Значит, надо все это ликвидировать — почти всю свою библиотеку или, по крайней мере, большую ее половину.

Как это сделать? Казалось, самое логичное — сжечь. Вот здесь, на этом месте, стояла печь. В других комнатах — еще три, в кухне — большая плита. Топили мы тогда дровами и торфом. Вроде бы, просто: успевай подкладывать в печь книги. Да ведь увидит та же домработница!

Словом, я решаю сжигать бумаги постепенно, ночами, когда все лягут спать. Делать это буду в своем кабинете каждую ночь, в течение нескольких недель. Однако снова препятствие: печами занимается домработница; утром, вытаскивая золу, она обязательно обнаружит следы моих ночных дел. Известно: пепел от сожженной бумаги можно различить сразу.

Что делать? Я нахожу выход. Каждое утро посылаю домработницу в магазин за какими-нибудь покупками, а в это время выношу ведро с пеплом...

Впрочем, главные мои мучения были в другом. Я жег ночами свои рукописи, дневники, книги и — плакал. Рассматривая каждую бумажку, говорил себе: «Это часть твоей души». Держа в руках книги того же Дубнова или гениального Бялика, я вспоминал, что вырос, читая и перечитывая их. Хорошо помню те свои слезы и свой страх. Признаюсь: то были самые черные мои дни и ночи.

Однажды я машинально протянул руку за очередной книгой, чтобы отдать ее пламени, и — вздрогнул. Это была Тора. Книгу подарил мне Ошерович, в сорок шестом или сорок седьмом году. В день моего рождения. На первой странице — его

дарственная надпись. Со мной случилась истерика... Хотя нет — я все же контролировал себя, сдерживал рыдания. Боялся: услышат жена или домработница.

Эту книгу я сжечь не мог. Вот она, видите. Не хватает только той, самой первой страницы с дарственной надписью, ее-то я и бросил в огонь. А Тору отнес в другую комнату — засунул в шкаф, где висели вещи жены, — в самый дальний угол...

Все это продолжалось довольно долго. Сколько? Не помню точно. Стояла зима. Сильные морозы. Печи топили часто. И бумажный пепел — от сожженных книг и рукописей — я тогда постоянно видел на снегу. Потом узнал: еврейские книги сжигали многие».

Ознакомительный фрагмент